

Мишарин А
эрашар

1985

Александр Мишарин

ЗАМЕТКИ ДРАМАТУРГА

«ВЕЧНОЕ ВОРОЧАНЬЕ КАМНЯ...»

Известный советский драматург Александр Мишарин, автор таких остропублицистических пьес, как «Равняется четырем Франциям», «...В связи с переходом на другую работу» и других, сегодня продолжает на страницах нашей газеты полемический разговор о проблемах современной драматургии.

Сов. культура, 1985, 9 февр.

Начну с отрывка из письма Томаса Манна: «Я — художник, то есть человек, который хочет развлекаться. Не надо по этому поводу напускать на себя слишком торжественный вид. Правда, все дело в уровне развлечения: чем он выше, тем больше поглощает тебя это занятие. В искусстве имеешь дело с абсолютным, а это не игрушки. Но все-таки оказывается — это игрушки, и я никогда не забуду нетерпеливых слов Гете: «Когда занимаешься искусством, о страдании не может быть и речи». Оглядываясь назад, он потом говорил: «Это было вечное vorochanie kamnia, который снова и снова требовалось поднять».

Хорошее замечание. Но отними у нас эту проклятую глыбу, о, как еще затоскуем. По ней. Нет, о страдании в искусстве не может быть речи. Кто в глубине души избрал для себя такое приятное дело, не должен перед серьезными людьми строить из себя мученика».

Давно и каждый раз по-новому люблю Томаса Манна. Так же, как и Чехова. У меня был хороший учитель словесности. Когда я был еще в «щелящем возрасте», он сказал: «Весь двадцатый век так или иначе в литературе развивался и будет развиваться под знаком этих двух гениев».

Томас Манн, насколько я знаю, не писал пьес.

Стараюсь не признаваться в этом — может быть, делаю это впервые — пьесы А. П. Чехова не кажутся мне самыми сильными его творениями. Лично я не могу их сравнить ни с «Архиреем», ни «В овраге» ни с «Черным монахом», ни со «Студентом»... Да еще с десятком других его шедевров. Чудится мне в его пьесах и «красивость», и «морализирование», и все-таки какой-то игривый что ли, театальный отблеск.

Что же выходит — в простом рассуждении для себя? Может быть, драма и не литература вообще? Так, как до сих пор всерьез не считают литературой киносценарии, работы для телевидения или цирка?

А что? Может быть!

А куда же тогда отнести А. Н. Островского, А. С. Грибоедова, А. В. Сухова-Кобылина?..

Может быть, к прошлому веку, к прошлому времени? Ведь после Чехова и Горького вроде бы почти не стало драматических классиков? Появилась грация, виды и подвиды «классиков».

«Конечно, классик, но не Булгаков».
«Конечно, большой драматург, но не Вишневский».

Или проще, скопом: «Ну, куда нам всем до Шекспира, Островского и т. д. и т. п.!

Невольно возникает ощущение, что сегодняшний театр, а следовательно, и сегодняшняя драматургия не могут, не в силах объять всю архисложность нашего времени.

Даже для того, чтобы дать ему сверхкраткую, сверхобщую характеристику, надо было бы... Что-то другое, но не пьесу.

Предвижу сто атак, сто возражений, объяснений, презрение. Бог с ними!

Важно для меня другое — драматургия в течение всего нашего века все меньше и меньше своими профессиональными, собственно драма-

тургическими возможностями смогла охватить, осмыслить и тем более «увековечить» в драматургическом образе жизнь.

«Дни Турбиных»? А разве не «Белая гвардия»?

Что из них подлинная классика? Допустим, «Дни Турбиных» — классика театральная. Но если смотреть на нее с точки зрения собственно литературной, пьеса «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия», на мой скромный взгляд, — это вещи почти несоизмеримые в мочем творчестве Михаила Булгакова.

Спектакли по роману «Тихий Дон» М. Шолохова? Или сам роман?

Понимаю, что еще немного и я вынужден буду сказать прямо — пьеса вещь в наше время хоть и литературная, но с точки зрения художественной вечности однодневка.

Ну, хорошо, наступим на собственное авторское самолюбие и скажем: «Да, наши пьесы пусть умрут, как только проблемы, в них поднятые, уйдут из жизни». Так говорил Александр Гельман, и его позиция была мне вполне понятна и вызывала уважение.

Но если бросить сегодняшние, так сказать, «производственные пьесы и проблемы» и начать писать только о вечном? Уважение к своему творчеству повысится, очевидно. И сам ты как-то приободришься, хотя бы в собственных глазах.

«О чем вы пишете?» — спросят.
«О вечном!»

Вроде бы неплохо...

Но это самое «вечное» во всем — в цвете снега, в неприятностях на службе, в нарастающих болезнях, в дымных закатах, в неожиданном ощущении возраста, во взгляде на давно знакомую и все-таки незнакомую женщину и невольный вопрос: «Люблю я ее или все-таки нет? И никогда не любил?!»

Да разве только в этом? Только в моем опыте? В знании. И в незнании, в предчувствии тоже.

А такие простые-непростые вещи, как конец тысячелетия. Подумать только — тысячелетия!

Не говорю уже о мире, макро- и микромире... Вооружении. Не о пистолетиках же речь!

А память? Простая твоя память, и то вбравшая с полвека. А еще говорят — генетическая теперь тоже реальна.

А слабые силы твои?

Тот же Т. Манн говорил: «Писатель — это человек, которому писание дается труднее, чем другим людям». И это тоже сюда добавьте...

Так что остается гетевское «вечное vorochanie kamnia, который снова и снова требовалось поднять».

Наверное, у каждого есть свои приемы, как его поднимать. Каждый из драматургов знает, на какую гору его тащить. И вряд ли стоит — хотя это и в характере человеческого! — кричать друг другу: «Не туда тащишь! Вот я тащу правильно. А ты — не в ту степь...»

Я совершенно согласен с В. Арро (статья которого «В магическом треугольнике» опубликована в № 152 «Советской культуры» от 20 декабря прошлого года), когда он пишет: «Сама жизнь, сама борьба человека за свое высшее предназначение и есть драма, финал которой может быть как счастливым, так и трагическим. Поэтому мне кажется, что любое правдивое размышление о человеке всегда связано с «общей идеей». Отражение глубины и многообразия связей человека с миром, с другими людьми в их диалектической сложности — это, вероятно, и есть путь, на котором может быть достигнута социальная и психологическая правдивость в драматургии».

Эти слова меня особенно радуют, потому что в самой статье Владимира Арро то и дело про-

скальзывает то одно, то другое «табу» — об этом не надо, об этом не стоит. А вот в резюме он и за «любое правдивое размышление», и за «глубину и многообразие связей человека с миром...»

Слишком много мы спорим, тратим время и бумагу — о неустroенных судьбах писать? Или об устроенных? Обо всей правде жизни? Или о правде жизни, ограниченной кабинетом?

Дело-то, по мне, не в этом.
Как сказал поэт: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

Мы, каждый из нас, сидим за письменным столом, и каждый знает хотя бы для себя, что мир, в который мы брошены судьбой и историей, не раскрыт нами, не описан никем из самых великих-величайших! А мы сами, хоть и бредем по нему, видим мало, слышим туго, vorochаем мыслями, как бульжниками, что мы сами «ленивы и нелюбопытны». И что самое главное — основная наша эмоция — бытовая раздраженность. Типа той, всем знакомой, в переполненном автобусе в часы пик.

А так как я беру смелость думать подобным образом в первую очередь о себе самом, а не о ком-нибудь другом, то кажется мне, что сами обстоятельства века нашего, завершающего собой тысячелетие, зывают, как никогда, пронзительно, к чувству ответственности каждого, Художника в особенности, предполагают в нем наличие высочайшей требовательности прежде всего к самому себе... И не столько поэтому виновата драматургия со всеми своими действительно уникальными, но не безграничными возможностями, сколько виновны мы сами.

Да, у нас не было домашних учителей со знанием трех языков. Да, многие книги и идеи до поры до времени были для нас неизвестными. Да, многие из небездонных человеческих сил уходило и уходит на тоскливую суету, на дешевый быт. На невоспитанность души.

И все-таки путь нашей «общей идеи» — это невиданное в истории Время. Да, Время, когда миллионы и миллионы людей рвутся во всем мире не только за хлебом насущным, но за идеей, мыслью, культурой. И жаждающий куса хлеба, и жаждающий гарнитура в кухне, и жаждающий книг, которые даже если он сам не прочтет, но прочтет его сын или внучка, не может, не должен вызывать у человека, претендующего на звание писателя, ни презрения, ни брезгливости.

Сквозь ломящуюся бытовую и общественную структуру нашего времени, со всеми сложностями ее внутренних связей и противоречиями развития, сквозь апофеоз невиданных возможностей человеческого общества, порождаемых гигантской технической оснащенностью и научной мыслью, сквозь смещение рас, обычаев, уровней культуры — сквозь все это видится писателю жизнь, неизведанная, не описанная никем ранее, ждущая его, писателя, осмысления и запечатления. И потому дело наше — литератора (драматурга в том числе) — не быть смываемыми вихревыми тектоническими, спрессованными в конце тысячелетия катаклизмами. Долг наш все-таки — остаться на своем месте.

«Поэт в России — больше, чем поэт».

Наше «производство», наш труд, наше руко-мисло — Мысль и Чувство. Твоя Мысль и Твое Чувство. Только Твое... Только. За него, за них ты достоин и признания, и забвения. И только за них — вся награда, знание — в последний твой вздох, — что не зря прожил жизнь...

«Счастье писателя, — говорил Т. Манн, — это мысль, способная целиком стать великим чувством. Это чувство, способное целиком стать мыслью».